

Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мертвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к «иуде», да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония, точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают еще более фальшиво «Боже царя храни». Днем все это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идет бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Еще час, еще четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли», напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько еще пройдет таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...

Мертвая тишина кругом...

Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо - нет ответа, налево - нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надежде услышать хоть какой-нибудь, хоть издали, неясный ответный гул его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.

Меня перевели в нижний этаж, куда верхний чистили или переделывали. Еще меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Еще темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу ситуаций на маленьких картах, которые я готовил для своего отчета.

Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.

Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных галошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол - лишь бы услышать звук своих собственных шагов...

Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил, не отвечая; караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.

Затем меня вели гулять. Я выходил во внутренний дворик редута, где стояла банька и прохаживались два солдатики из караула. Я пытался с ними заговорить, но они молчали.

Я ходил, ходил вкруговую по тротуарику пятиугольного дворика, и изо дня в день видел все то же и то же. Изредка воробей залетал в этот дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны, тяжелые хмурые пары, выходящие из высокой трубы монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я девушку, должно быть дочь смотрителя, выходящую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуару, в ворота, которые тотчас запирали за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки, стало быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика; а если я слышал звонок у калитки и она входила во дворик, возвращаясь домой, ее пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.

Еще, на праздниках, я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик, наверное, симпатично относится к заключенным. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что, едва он вышел в офицеры, он присоединился, кажется, к партии «Народная воля», помогая переписке между революционерами и заключенными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.

Еще помню я, что летом около бани выросло несколько цветов; голые, худосочные, они все-таки пробились сквозь камни мощеного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошел с тротуарика и подошел к ним. Оба сторожа и унтер бросились ко мне: «Пожалуйста на тротуар». Я подошел к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня, - все удовольствие было ис-